

ОСЕНЬЮ я собираю кленовые листья — желтые, красные, оранжевые, зеленые, приношу домой, кладу сначала под пресс, потом разглаживаю утюгом и делаю букет. Букет из осенних листьев может стоять целый год, вплоть до следующей осени, освещая и согривая комнату. Можно сделать несколько букетов, тогда надолго поселится в жилище запах и краски осени. Такие букеты научили меня делать в доме поэта Леонида Мартынова. Эти разноцветные осенние листья поразили меня сразу, когда в первый раз я попала в этот дом. Рядом с осен-

на полу. Видимо, все они были в работе, казалось, только что их открывали, читали, делали пометки. На подоконнике и на столе лежали камни, напоминающие то человеческие лица, то изображения каких-то животных. Мартынов говорил мало, но как-то значительно и веско, казалось, что спорить с ним бесполезно. Вошла Нина Анатольевна, крупная женщина с тяжелым пучком гладко зачесанных волос, открывающим высокий лоб, с большими темными глазами, добрыми и тревожными одновременно. И в том, как Мартынов глядел на жену, как обращался к ней с вопросом, как отвечала она ему, чувствовалось, что эти люди бесконечно связаны друг с другом и один просто немислим без другого. Подумалось: наверно, это ей, Нине Анатольевне, посвящено стихотворение «Подсолнух»:

«...Но ты вошла... Отчетливо я помню, как ты вошла — не ангел. И не дьявол, а теплое

тали его стихи актеры, да и сам себе он был интересен, ведь, в сущности, это было его первое появление на экране.

— Мы смотрели передачу вместе с друзьями — Анталом Гидашем и Агнесой Кун, — сказал он в конце разговора.

Много позже Нина Анатольевна рассказывала мне об этой удивительной дружбе. После войны Мартынов переехал в Москву из Омска, жили они в Сокольниках, причем судьба поэта все время сопутствовала чудеса. Он жил на 11-й Сокольнической улице, в доме 11, в квартире 11, мало того, площадь комнаты была 11 метров, и прожил он в ней 11 лет. Жили трудно, Мартынов тогда занимался в основном переводами. И вот в эту 11-метровую комнату и вошел впервые Антал Гидаш — знаменитый венгерский поэт. Вошел и остался рядом на всю жизнь. Прошло время, многое изменилось, Мартынов стал признан-

— А хотите, я свожу вас в лес, на древние курганы, которые я открыл вместе с деревенскими ребятишками. Это курганы или вятичей, или кривичей... Словом, там покоятся наши предки, — предложил Мартынов всей нашей группе.

Мы отправились в лес, взяв с собой аппаратуру, решив, что это будет интересно — снять Мартынова в лесу, на этих курганах, о которых он говорит с воодушевлением и одновременно с негодованием, потому что курганы фактически беспризорны.

— Являются туристы, жгут костры, ломают деревья, копают что-то на этой древней земле... Вот об этом я хочу сказать в передаче, может быть, до кого-то и дойдет...

В передаче, которая называлась «Поэзия Леонида Мартынова», вошел этот эпизод, вошли и другие кадры, которые снял оператор в летнем подмосков-

себя, перебивая самого себя, перебивая самого себя. И никто, никакий актер не мог читать эти стихи лучше, чем сам поэт. Он делал паузы именно там, где требовала неровная ткань стиха, он возвышал голос в том месте, где это было необходимо, и читал почти шепотом, когда просила того интонация и настроение строфы. У него была своеобразная манера — по-мальчишески, заодно вскидывая голову или на мгновение закрывая глаза, отрешаясь от внешнего и уходя в свой внутренний мир.

Уже под конец съемок Мартынов монотонно и чуть печально прочитал такие строки: Свои стихи я узнаю В иных стихах. Что нынче пишу. Тут все понятно: я пою. Другие эту песню слышат. Слышатся из голоса. С моим почти в единый голос. Но только вот в чем чудеса? Утратив молодость, веселость,

приоткрыть которую чрезвычайно трудно, но вот как пишет об этом сам Мартынов: «Моя художественная мастерская, заваленная кипами газет...». А когда его спрашивали, каков сегодня круг его чтения, он отвечал:

— Я читатель газет... Это явление не столь уж часто — вдумчивый читатель газет. Я должен знать, чем сегодня живет мир... Но, конечно, я продолжаю быть и читателем книг, я читаю стихи, как читал их всю жизнь — в пятилетнем, десятилетнем возрасте, испытывая от этого чистое наслаждение. Я читаю научные книги, то есть я служу за всем тем, что происходит в современной жизни, за тем, что делают физики, химики, биологи...

Потом он добавляет со свойственной ему манерой — неожиданно остановиться и прикрыть веками глаза:

— Но сейчас я предпочитаю писать. Увы, это удел людей моего, как говорится, преклонного возраста. Надо успеть написать то, что можешь и должен написать...

И он спешит... Почти одновременно выходят книги Мартынова «Земная ноша», «Узел бурь», «Воздушные фрегаты», трехтомное собрание сочинений.

Книгу «Земная ноша» Мартынов прислал мне по почте. Я прочитала ее, и поначалу лишь несколько стихотворений зароманились, многое было непонятно сразу и требовало дополнительного чтения, многое казалось написанным как бы второпях. Мне по-прежнему больше нравились стихи более раннего периода, вот эти особенно:

«И иду я по этому миру. Я хочу отыскать эту лиру, или... как там зовется он нынче — инструмент для прикосновений пальцев, трепетных от вдохновения...»

В это самое время и разыскал меня режиссер Борис Конухов. В руках у него была книга «Земная ноша».

— Надо сделать фильм о Мартынове, настоящий документальный фильм. Эти две передачи — лишь эскизы к этому фильму, — сказал он. — Я уже представляю, каким должен быть этот фильм, он будет называться «Земная ноша»... Послушай, какие замечательные стихи в этой книге...

Он даже победил от волнения, открыл маленькую книжку в белой обложке и стал читать:

И брожу я меж соленых луи, И как будто вижу я, блуждая, Что блуждаю как ученый муи, Зарожденные жизни муи.

На тебе, планета, молоток! О твоя ежа взойдет звезда, Поостынет диная вода, Кровь и мед поелятся и млею!

Но когда еще? Еще когда! Высшая премудрость иногда Препредевременна для человека...

— Ты подумай только, какие слова: «Высшая премудрость иногда преждевременна для человека...» Я вижу эти стихи, я представляю, как можно передать их на экране... Он загорался все больше и больше. — Я теперь работаю с очень хорошим оператором — Валерием Ахнимин, он тоже знает и ценит Мартынова, он и будет снимать фильм...

— Ты слушай дальше, — почти кричал Борис: — «Что во мне снится, горюжане, в лени, в неге, тишине? Пусть видений содержание станет явственным и мне!» Он прочитал стихотворение до конца и почти наизусть. Потом добавил, что снимать Мартынова надо обязательно в разных местах — и в Москве, и в Степановском, и на улицах...

— Надо снимать скрытой камерой, мы с оператором можем даже поселиться на некоторых время в Степановском, — закончил он.

Планы были столь грандиозны, что я растерялась. Но все-таки тут же позвонила Мартынову, предложила ему новую идею.

— Фильм обо мне? — удивился он. Но потом сказал через паузу: — Но тогда вы обязательно должны съездить в Омск, в

город, где я родился... Может быть, там даже сохранилась врубелевская сирень, в том самом дворе, где размещалось в 20-е годы училище живописи, ваяния и зодчества... Мартынов тоже загорелся и стал фантазировать дальше.

Для наметки сценария будущего фильма мы вновь приехали к Мартынову. Он советовал обязательно снять реку «Тишину» — Омь, впадающую в Иртыш, у него есть известное стихотворение:

— Ты хотел бы вернуться на реку Тишину? — Я хотел бы в ночь ледостава...

Так оно начинается. Он настаивал, чтобы в фильм вошла хроника, зафиксировавшая строительство Турксиба. Мартынов ездил на это строительство в качестве газетного корреспондента и помнит, как приезжали «киношники» и снимали день открытия Турксиба.

— Но не только Турксиб, вы должны показать и озеро Балхаш, и Барбаринскую степь... И обязательно в фильм должны войти мои рисунки.

Он вытаскивал откуда-то из стопки книг альбом, где были аккуратно наклеены рисунки, сделанные цветными карандашами. Видимо, их автор в те годы увлекался художниками-импрессионистами, такое буйство красок присутствовало в рисунках, что даже со временем цвета не поблекли.

— Я думаю, что эти детские рисунки, — говорил Мартынов, — могут дать зрителю гораздо больше представления обо мне, нежели многие фотографии.

Позже я обнаружила такие стихи поэта:

Увы, не умею писать биографий, Я больше всего не люблю фотографий — Их плоская, минимальная точность страшна мне — Мне ближе литограф, что режет на камне И, сладно задумавшись, Туда, где об этом никто и не просит, В храм истины вымысел смело стучится. Чего не случилось, могло бы случиться.

Кажется, что и в предполагаемый фильм Мартынов хотел включить то, «чего не случилось», но могло бы случиться...

— Вы знаете, — продолжал он, — еще с детства я видел видения, когда в клубах пыли кувыркались разные геометрические фигуры — квадраты, цилиндры... И только потом, став более или менее взрослым человеком, я прочитал, что Сезанн писал в свое время, что мир как раз и состоит из этих самых начал и надо рисовать, писать эти фигуры...

— Он закрывает альбом любовно и бережно.

Прошло время, зимой режиссер с оператором съездили в Омск, сняли улицу Красных зорь, дом, где родился поэт, и, конечно, Иртыш, и ледостав на реке «Тишине».

Потом мы ездили в Ленинград, снимали университет, в который так хотел поступить молодой Мартынов на географический факультет без вступительных экзаменов, Неву, которую он переплыл в то время... И уже после этого снимали самого Мартынова в московской квартире.

Было холодно, стоял январь, стекла на окнах покрылись узорами, но, как всегда, его рабочий кабинет освещали букеты из осенних листьев, цвет розовым цветом багульника, так же громоздились книги от потолка до пола, везде лежали камни...

Съемки продолжались несколько часов кряду и очень утомляли поэта. Практически все кадры этой съемки вошли в наш фильм.

Мартынов показывал свои рисунки, вырезки из понравившихся газет, где в юности он печатал стихи, корреспонденции, заметки, статьи о городах, возникших в пустыне, о подвигах моряков, о яблоневых садах, цветущих в Сибири...

Зрители фильма могли увидеть и тоненькую рукописную книжку «Футуристы»... Марты-

нов поднялся со своего кресла и вынул эту книжку из шкафа...

— Когда меня спрашивают, был ли я футуристом, я отвечаю: конечно, был, — говорит Мартынов в камеру. — Эта книжка была издана на агитационном омском пароходе художником Виктором Уфимцевым, впоследствии он стал народным художником Узбекстана.

О нем, о Викторе Уфимцеве, есть в книге «Воздушные фрегаты» прекрасная новелла «Звездный». В творчестве Мартынова была еще одна редкая особенность: он воскрешал забытые имена!

В фильме «Земная ноша» мы включили много фотографий молодого Мартынова. В молодости он был похож на Джека Лондона, у него мужественное, открытое лицо, белокурые волосы, лучистые глаза. Он снят то у бортовой лодки, то у носа катера... Фотографии эти дают ощущение какой-то широкой, вольной, скипальческой жизни, полной удивительных встреч и открытий.

Работая над фильмом, мы очень долго искали те кадры на Турксибе, о которых говорил Мартынов. Кадры за кадром мы отсчитывали метры старой киноленты и вот нашли... То же молодое открытое лицо, та же улыбка. Конечно, это он, Мартынов, сомнений быть не может. Он слился с толпой строителей, а среди них — и русские, и украинцы, и узбеки, и казахи... Он — вместе со всеми, и все-таки что-то отличает, выделяет его из общей массы. Ведь только он, молодой газетчик и корреспондент, мог написать тогда такие стихи:

«Не худо, сев на важного верблюда, напраздиться и к югу и к востоку! Дари свободу бедному народу! Дари свободу железному дорожнику! Дари свободу, букву, цифру, слово и все, на что ты сам имеешь право...»

После зимней съемки мы надеялись еще не один раз поработать с Мартыновым, но практически это была наша последняя съемка. Правда, несколько кадров мы сняли летом в Степановском, куда Мартынов поехал с нами неохотно, больше из чувства долга. Тогда уже тяжело болела Нина Анатольевна.

Возвращаясь из Степановского, Мартынов говорил, слушая наши сговаривания о том, что снять удалось мало:

— Вот Ночка поправится, тогда еще раз съездим.

Но Нина Анатольевна не поправилась, в конце лета она умерла.

Я навестила Леонида Николаевича уже осенью. Он вышел мне навстречу похуловший, какой-то потусторонний, небрежно одетый. Меня поразило, что яркие осенние букеты стояли на столе и похуловье, не было видно и багульника... Дом казался заброшенным, холодным, пустым.

Мартынов прочитал мне несколько новых стихотворений, в которых билась одна мысль, одно чувство — огромность утраты. Потом он стал читать новеллу «Птица Ундервуд», тоже о ней, о Нине Анатольевне.

В фильм мы включили ее фотографии — и в молодости, и в зрелом возрасте. На фотографии, да и в жизни она была похожа на жен декабристов, от нее исходило чистота и свет.

Леонид Николаевич очень тяжело переживал утрату и был в это время страшно одинок, хотя друзья и близкие не оставляли его ни на минуту. Мы, телевизионщики, тоже старались окружить его заботой, вниманием.

Я часто звонила ему по телефону и бодрым голосом сообщала, как продвигается наш фильм, что мы сделали и что собираемся делать дальше. Иногда Мартынов слушал безучастно, иногда говорил сердито, раздраженно:

— Делайте как хотите, покажите что угодно, но не надо этих ваших розовых выцветших и загнивающих со зрителем, не надо пошлости...

Режиссер и оператор хотели

все-таки снять martyновское Лукоморье, то место, где горы заходят в луку моря.

— Можно это снять на север, но с таким же успехом можно поехать и на юг, — говорил Конухов. — Посоветуйся с Мартыновым, в каких краях, где нам лучше снять Лукоморье.

Я позвонила. — Вы странные люди! — пробурчал Мартынов. — Да вы нигде его не найдете! — Больше он не сказал ничего.

Только потом мы поняли, что Лукоморье искать, наверно, не надо. У каждого оно свое: это полет фантазии, беспокойства духа, широта сердца...

Иногда Леонид Николаевич звонил сам и спрашивал: когда же будет готов фильм? Он торопил нас, как будто боялся, что так и не посмотрит его на экране телевизора.

В один из дней режиссеру еще раз удалось приехать к поэту, чтобы записать его закадровые тексты, и Мартынов вдруг решил сам спеть старую казачью песню.

— Эту песню пела мне мама, — сказал он задумчиво и запел:

Ты скажи-ка мне, сестра, Чей-то голос у тебя, Чей-то голос ночью раздавался? Это струны на разлад — На гитаре я ввечер играла... Ты послушай, родной брат, Это месяц на закате, Закатался месяц серебристый...

Пел Мартынов чуть с хрипотцой, но голос был сильным, красивым.

Фильм был готов к 75-летию поэта, в эти дни он был показан и по телевидению. Мартынов смотрел фильм дома вместе с друзьями.

Ровно через месяц после премьеры «Земной ноши» Леонида Мартынова не стало. Он умер легко, во сне... Когда я узнала об этом, несколько дней больно стучало в висок вот эти стихи:

С некоторых пор Я вижу как будто С выцветших гор, чьи утесы круты, На земной просторе, чьи равнины гладки С некоторых пор, ибо все в порядке С некоторых пор, Звезды, как лампадки, Радуют мой взор, будто все загадки

Разгадал, И спор Кончен, Сны так сладки, Только очень кратки С некоторых пор.

Прошел год.

— И все-таки, — сказал мне однажды режиссер Борис Конухов, — я подумал и решил, что фильм о Мартынове надо снимать по-другому. — В руках у него была новая книга стихов поэта «Эпоптей запас», вышедшая уже посмертно. — Понимаешь, это человек, мир для которого каждый день нов. Каждый раз дерево за окном казалось ему другим, звезды — другими, люди — тоже другими. И все: пласт земли, ветка, камень, курган среди асфальта — имело для него особый, неповторимый смысл, и все становилось поэзией.

И вправду, подумала я, недавно же он написал вот это:

Я как будто несколько столетий Не писал стихов. И вновь берусь. Промельнуло, и не заметил, Нескольким векам, И над ней иные облака. И над ней совсем иная осень, И над будто бы перо я бросил

Только сутки, а прошли века...

Может быть, мы сделаем еще один портрет Леонида Мартынова. Тем более, что продолжают выходить его книги, живут на свете его верные друзья и близкие, вечерами горит свет в окнах его дома, освещая рабочий кабинет поэта, где все остается в неприкосновенности — и труды книг, и кипы газет, и дикие камни на подоконнике.

А на столе в любое время года рядом с веткой багульника стоит букет из осенних листьев.

Рядом с мастером

Букет из осенних листьев

Записки тележурналиста

ним букетом стояли ветки багульника с нежными сиреневыми цветами, как будто соединяя весну и осень. Я подумала тогда, что, наверное, осень — любимое время года Мартынова, припоминала строки его стихов, вот эти:

«Листья во всем своем величии лепестки, лепестки от волшебства. И эти: «Лесной массив красен. Он расписной, красной огней, горелых пней чернее. Когда он чахнет, пахнет он пьяные и весь гораздо ярче, чем весной...»

С Леонидом Мартыновым меня и режиссера Бориса Конухова познакомил критик и прозаик Валерий Деметьев. Было это в 1974 году, в ту пору у него как раз вышла книга о поэзии Мартынова.

— Вот кого интересно снять, вот о ком надо делать передачу — о Мартынове, — говорил Деметьев. — На телевидении ведь ничего нет о нем...

— Да, действительно, — соглашалась я. — Но ведь Мартынов, кажется, не снимается...

— Надо попробовать его уговорить, — сказал Деметьев. Он взялся быть автором передачи о творчестве Мартынова.

И вот все вместе — автор, режиссер, редактор — мы пожаловали к поэту в гости. Я никогда прежде не видела Мартынова, разве что на немногих фотографиях в сборниках его стихов. Он представлялся мне болезненным и старым. Наверно, потому что всякий раз, когда мои коллеги звонили ему, чтобы пригласить прочитать стихи или принять участие в какой-либо передаче, к телефону подходила его жена Нина Анатольевна и очень вежливо, глубоко, грудным голосом отвечала, что Леонид Николаевич плохо себя чувствует. И вот я увидела Мартынова: мне он показался очень прямым и высоким. У него были подвижные, выразительные лицо и низкий, раскатистый голос, слова он произносил медленно, весомо, с расстановкой:

— Ну-те-с, пожалуйста, пройдите в комнату.

Он провел нас в рабочий кабинет — небольшой, сплошь заставленный книгами. Книги не только стояли в шкафах, но и горой лежали на столе и даже

здоровое создание, такой же гость невольный, как и я... Я это понял. Одного лишь только не мог понять: откуда мне знакомы твои лица, твои глаза и губы, и волосы, упавшие на лоб? Я закричал: — Я видел вас когда-то, хотя я вас и никогда не видел. Но тем не менее видел вас сегодня, хотя сегодня я не видел вас!

Я тогда находилась во власти поэзии Мартынова. Мне нравилось многое — не то чтобы нравилось, просто его стихи проникали в кровь и плоть, жили внутри, я наткалась на них непрерывно. Особенно завораживал «Пророжий»:

«Замечали — по городу ходит прохажив? Вы встречали — по городу ходит прохажив, верою, приезжий, на нас непохожий».

И потом: «Это — я! Тридцать три мне исполнилось года. Проникал и в вас в квартиры я с черного хода. На потерянных диванах я спал у знакомых, принадевшись главу на семейных альбомов...»

Об этом стихотворении много писала критика, да и сам Мартынов в книге поэмы «Воздушные фрегаты» размышлял об этих стихах. В нашей передаче он рассказывал, что о Лукоморье, том самом Лукоморье, куда и зовет людей странный прохажив, он впервые узнал от Пушкина.

Потом я начал читать другие книги, продолжал Мартынов, — в которых упоминалось о старых преданиях про полуночные иры, где горы, возвышающиеся до небес, заходят в луку студеного моря. В горюхих летописных преданиях. А в тридцатых годах моей тогдашней скитальческой жизни в моем сознании еще смутно сформировался и собственный свой образ — автопортрет скитальца, бродяги, прохажива, на других непохожего, поющего песню о Лукоморье... Я имею в виду стихотворение «Пророжий» — о печальном бродячем сказочнике-феетисте...

Мартынов и сам казался человеком, не поддающимся общим меркам и правилам, — странным, неожиданным, он не вписывался ни в какие привычные представления и стереотипы.

Та первая передача, которую мы делали вместе с В. Деметьевым, была только началом, только пробой, только подступом к разгадке и осмыслению творчества Мартынова. В ней мы представили поэта певцом города, сделали его поэзию зрелищной, созвучной линиям, ритмам, настроению большого современного города.

После эфира Леонид Николаевич позвонил мне по телефону. Ему очень понравилось, как чи-

ным поэтом, а дружба эта осталась прежней.

— Если нам не случается увидеться, — рассказывала Нина Анатольевна, — каждый месяц 1, 10 и 30 числа мы звоним по телефону Гидашам или они звонят нам. Так заведено у нас с самого начала...

Передача о Мартынове была хорошо принята, о ней писали газеты, приходили письма читателей. Один телезритель даже прислал карандашный рисунок поэта, причем очень точно передавал его индивидуальность. Но и я, и режиссер интуитивно чувствовали, что рассказана лишь малая толика.

Мы тогда читали новую книгу Мартынова «Гиперболы». Было лето, когда я позвонила ему на квартиру, чтобы предложить сделать для телевидения еще одну передачу.

— Вы случайно застали меня дома, — прогремел в трубке его бас. — Летом мы ведь живем в деревне. — Он так и сказал: «В деревне», — он не на даче. — В Степановском...

— Где это? — спросила я, представляя, что все московские писатели живут летом в Передаткине или в Красной Пхаре, а тут какое-то Степановское.

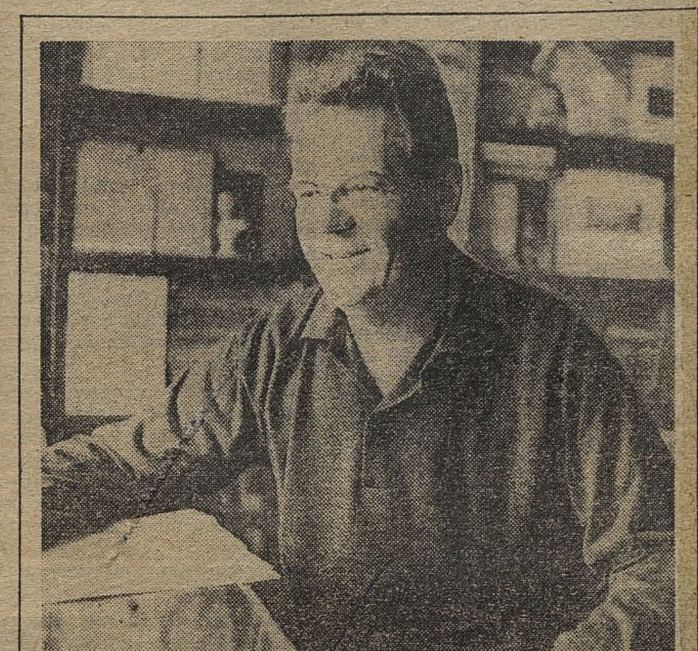
Леонид Николаевич стал подробно объяснять, как проехать в село Степановское на городском транспорте. И добавил:

— Если хотите снимать, приезжайте сюда!

Через несколько дней мы поехали в Степановское в том же составе: Деметьев, Конухов и я, с нами вместе ехала и съемочная группа.

— Надолго нельзя откладывать это дело, — говорил по дороге Деметьев, который всегда был рад встретиться с Мартыновым и помочь нам. — Леонид Николаевич — человек неожиданный, может и передумать.

Мартынов встречал нас на дороге, он был в клетчатой кофте, в руках держал толстую трость. К деревенскому дому, где каждое лето жил Мартынов, мы шли пешком. В доме было светло, прохладно и просторно, пахло свежими ветками деревьев, пахло свежими ветками деревьев, пахло свежими ветками деревьев. Во дворе бегали дети, лаяли собаки, росли яблоны и черны. Мартынов, загорелый и помолодевший, вошел нас по своим владениям, показывая, что где растет и, конечно, новую коллекцию своих удивительных камней, которые он нашел в Степановском, на берегу Истры.



Леонид МАРТЫНОВ.

Фото В. ШАГОВА

Устав прочесть горячо, И говорю все глуше, тише, И все, что только лишь еще Хочу сказать, от них я слышу.

Не дав и заикнуться мне, Они уж возлагают это, И то, что вижу я во сне, Они вещают в час рассвета.

Прочитав последнюю строку, он на мгновение закрыл глаза и замолчал... А мы подумали, что, наверное, мало кто из поэтов отважился бы признаться в этом движении жизни и поэзии, сказать о себе так правдиво и строго.

Случилось, что передачу, которая снималась в Степановском, поставили в программу в неудобное для зрителей время — утром, в будущий день. Я была огорчена и позвонила Мартынову, чтобы как-то оправдаться, приготовила бодрые слова и обещания на будущее.

— Когда, вы говорите, пойдет передача? В среду, в 11 часов утра? — переспросил он.

Я что-то лепетала в трубку.

— Очень хороший день и очень хорошее время... 11 часов, как раз перед полуднем, — произнес он, как всегда, весело и, что удивительно, серьезно.

Его не заботили мелочи, как у каждой крупной личности, у него не было комплексов зависти к чему-то или кому-то, он не занимался пустоপরোজной болтовней и критиканством. Он был созидатель, он был подвижник. У него было обостренное чутье на новизну, по собственному определению, его «сверлящий взор» умел «явственно видеть новое».

Поэзия Мартынова критики называют и жизнеописательной, и интеллектуальной, и даже научной. Мне кажется, что прежде всего эта поэзия наделена открытой публицистичностью, гражданским чувством. Вроде бы творческая лаборатория, художественная мастерская писателя — это «святыя святых», тайна,

Устав прочесть горячо, И говорю все глуше, тише, И все, что только лишь еще Хочу сказать, от них я слышу.

Не дав и заикнуться мне, Они уж возлагают это, И то, что вижу я во сне, Они вещают в час рассвета.

Прочитав последнюю строку, он на мгновение закрыл глаза и замолчал... А мы подумали, что, наверное, мало кто из поэтов отважился бы признаться в этом движении жизни и поэзии, сказать о себе так правдиво и строго.

Случилось, что передачу, которая снималась в Степановском, поставили в программу в неудобное для зрителей время — утром, в будущий день. Я была огорчена и позвонила Мартынову, чтобы как-то оправдаться, приготовила бодрые слова и обещания на будущее.

— Когда, вы говорите, пойдет передача? В среду, в 11 часов утра? — переспросил он.

Я что-то лепетала в трубку.

— Очень хороший день и очень хорошее время... 11 часов, как раз перед полуднем, — произнес он, как всегда, весело и, что удивительно, серьезно.

Его не заботили мелочи, как у каждой крупной личности, у него не было комплексов зависти к чему-то или кому-то, он не занимался пустоপরোজной болтовней и критиканством. Он был созидатель, он был подвижник. У него было обостренное чутье на новизну, по собственному определению, его «сверлящий взор» умел «явственно видеть новое